

Глеб Иванович Успенский

Наблюдения Михаила Ивановича



Разоренье

Глеб Успенский

Наблюдения Михаила Ивановича

«Public Domain»

1870

Успенский Г. И.

Наблюдения Михаила Ивановича / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1870 — (Разоренье)

«В ... повести Успенский широко использовал свое знание быта и нравов Тулы – в то время крупного промышленного центра, где он жил в детстве, а затем неоднократно бывал с 1865 по 1869 год. В частности, в повести отразились наблюдения над рабочими-оружейниками Тульского казенного завода, недовольство которых невыносимыми условиями существования вылилось в 1863 году в продолжительные волнения. В своих неизданных записках брат писателя И. И. Успенский сообщает, что «прототипом» Михаила Ивановича был тульский рабочий, воспитывавшийся в доме И. Я. Успенского. В повести использована также история жизни семей матери и отца писателя. ...»

Содержание

Предисловие автора к циклу «Разорение»	5
Наблюдения Михаила Ивановича	6
I. Михаил Иванович	6
1	6
2	8
3	13
II. В ожидании чугушки	15
1	15
2	16
3	18
4	20
III. Разоренные	23
1	23
2	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Глеб Иванович Успенский

Наблюдения Михаила Ивановича

Предисловие автора к циклу «Разорение»

Под общим названием «Разоренья» здесь помещены три ряда очерков, печатавшихся прежде под тремя самостоятельными названиями: «Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже травы» и «Наблюдения одного лентяя». По первоначальному плану «Разоренье» должно было составить *одну* большую работу, в которую должен был войти весь материал, распавшийся потом на три части. Обстоятельства чисто личного характера заставляли меня часто на долгое время прерывать работу, и когда она потом начиналась, после значительного перерыва, – придавать ей форму работы самостоятельной, как будто бы она не имела никакой связи с рядом предшествовавших очерков. Сколько-нибудь внимательный читатель увидит однако, что дневник «Тише воды, ниже травы» есть в сущности прямое продолжение первой части «Разоренья», печатаемой здесь под названием «Наблюдения Михаила Ивановича». В этой второй части действуют те же лица разоренной семьи – сын, дочь и мать. Но так как этот дневник по разным причинам появился после первой части почти чрез год, когда первую часть читатель мог и забыть, то являлось необходимым изменить кое-что в характерах и обстановке главных действующих лиц. Неудивительно поэтому, что из собранных в этом томе очерков многое могло быть понято не так, как бы следовало, многому могло быть приписано вовсе не подобающее значение. Так, например, многим могло показаться, что в бессильном и слабом авторе дневника я желал видеть героя. Нет! этот тип так же, как почти все, что вошло в первые две части «Разоренья», отживает свой век, и автор дневника – тип «отживавшей» молодежи. Нарождению новых, неясных стремлений в толпе, то есть в неразвитой, забитой и необразованной среде, предполагалось посвятить третью часть, которая и явилась, опять-таки вследствие перерыва, под особым заглавием: «Наблюдения лентяя». Вообще же в объяснение недосказанностей некоторых из очерков, собранных в настоящем издании, я могу только еще раз сослаться на то, что уже сказано мною в предисловии к настоящему изданию.

Автор.

Наблюдения Михаила Ивановича

I. Михаил Иванович

1

Несмотря на то, что новые времена «объявились» в наших местах еще только винтовой лестницей нового суда и недостроенной железной дорогой¹, жить всем (таков говор) стало гораздо скучней прежнего, ибо вместе с этими новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю, весьма приятную и певучую зевоту, и томит, и мешает. Никогда не было такого обилия скучающих людей, какое в настоящую пору переполняет решительно все углы общества, от лучшей гостиной в Дворянской улице до овощной и мелочной лавки Трифонова во Всесвятском переулке. Все это скучает, томится и вообще чувствует себя неловко.

Без сомнения, существует большая разница в формах тоски, наполняющей гостиную, и тоскою лавки; но так как нам приходится говорить о последней, то мы должны сказать, что упомянутая лавка и замечательна только потому, что служит пристанищем для тоскующего населения глухих улиц. Людям, потревоженным отставками, нотариусами, адвокатами и прочими знаменами времени, приятно забыться вблизи хозяина лавки – Трифонова, плотного, коренастого мужика, выбившегося из крепостных, любящего разговаривать о церковном пении, женском поле, медицине, словом – о всевозможных вещах и вопросах, за исключением тех, которые касаются современности. Среди современности господствует дороговизна, неуважение к чину и званию, неумение оценить человека заслуженного. У Трифонова же идет пение басом многолетий, варение микстур и целебных трав «против желудка», а сам хозяин ходит босиком и необыкновенно спокойно чешет желудок в виду самых разрушительных реформ. И к Трифонову идут... И когда бы вы ни зашли в лавочку, вы всегда найдете здесь двух-трех человек, ропшущих на неправды нового времени...

– Я говорю одно: иди и ложись в гроб! – взволнованным голосом говорит обнищавший от современности купец. – Нонешнее время не по нас... Потому нонешний порядок требует контракту, а контракт тянет к нотариусу, а нотариус призывает к штрафу!.. Нам этого нельзя... Мы люди простые... Мы желаем по душе, по чести.

– Железная дорога! Ну что такое железная дорога? – говорит длинный и сухопарый чиновник Печкин в непромокаемой шинели. – Ну что такое железная дорога? Дорога, дорога... А что такое? в чем? почему? в каком смысле?..

Много приходится Трифонову выслушивать излияний в подобном роде, но все это не составляет для него особенной трудности, потому что он, собственно говоря, и не слушает, что ему толкуют, и нуждается в приходящих и тоскующих только потому, что ему нужно кому-нибудь объяснить и свои размышления по части пения и врачевания.

– Ну хорошо, – как будто бы отвечая купцу, говорит он по окончании его речи. – Ну будем говорить так: советуют сшить сапоги из белой собаки. Предположим так, что я возьму и собаку... Но в каком смысле белая собака может облегчать, ломоту?..

И купец и чиновник, получившие такой ответ на свои сетования, никогда не претендуют на Трифонова; напротив: они весьма довольны этим невмешательством, ибо им, как и всякому, пораженному тоскою, хочется отыскать такой уголок, где бы он мог выкричать, занявничать сво-

¹ ... недостроенной железной дорогой... – строительство Московско-Курской железной дороги. 15 августа 1868 года было открыто движение по участку Орел – Москва.

его нотариуса, свою железную дорогу без помехи. И так как большинство посетителей стоит именно за это невмешательство и уже привыкло говорить свое, не слушая друг друга, то всякий, желающий вести настоящие разговоры, то есть отвечать на вопросы, возражать и т. п., должен невольно покоряться общему ходу беседы и разговаривать сам с собою.

В лавке Трифонова бывает всего один из таких посетителей, пользующийся особенным невниманием потому, во-первых, что звание его, как шатающегося без дела заводского рабочего, уже само собою уничтожает всякое внимание к нему среди присутствующих в лавке чиновников и купцов, и, во-вторых, потому, что разговоры его тоже не идут в общую колею. И поэтому никто из посетителей не замечает, как тощая фигура Михаила Иваныча (так зовут этого человека), весьма похожая на фигуру театрального ламповщика или наклеивателя афиш, топчется то около купца, то около чиновника и сиплым голосом, в котором слышится чахоточная нота, пытается вступить в разговоры.

– А-а-а! – радостно оскаливаясь, говорит Михаил Иваныч купцу, вытягивая вперед голову и складывая назад руки. – А-а-а!.. не любишь!.. А тебе хочется по-старинному, с кулечком к приказному через задний ход?.. Заткнул ему в глотку голову сахару – и грабь?.. Нет, погодишь!.. Нонче вашего брата оболванивают!.. Ноне, брат, погодишь!.. Нет, повертись!.. Наживи ума!

Кашель прерывает его речь; но Михаил Иваныч не жалеет своей груди и, ответив купцу, тотчас же поворачивает свою вытянутую голову к чиновнику.

– А-а-а!.. Прижучили!.. – хрипит он. – Очень, очень великолепно! Очумели спросонок? Дороги чугунной не узнаете? Я вам покажу чугунную дорогу!.. Дай обладят, я тебе представлю, коль скоро может она простого человека в Петербург доставлять! Смахаем в Питер к Максиму Петровичу – так узнаешь дорогу!.. Н-нет, мало! Очень мало... О-ох бы хоррошенько...

– Ну хорошо... будем говорить так... – раздается басистый голос Трифонова, и в ту же минуту Михаил Иваныч обращает к нему пристальные, волнующиеся глаза, какими смотрит голодная собака на кусок. – Предположим, ежели буду я мешать микстуру палкой...

– Палкой? – хватаясь за слово, тоже как собака за кусок, вскрикивает Михаил Иваныч. – Нет, пора бросить!.. Ноне она об двух концах стала!.. Пора шваркнуть ее, палку-то!.. Д-да! Порассказать в Питере – ахнут! Ноне она об двух концах стала... Да-а!.. Позвольте вам заметить.

При последних словах Михаил Иваныч энергично тряс головой; но едва ли десятая часть его слов доходила до ушей посетителей, слишком плотно заткнутых нотариусами и железными дорогами. Кроме заморенного, не звучного, а как-то шумевшего голоса, который уже сам собою уничтожал силу его выражений, невмешательство посетителей было так велико, что к концу вечера Михаил Иваныч принужден был прибегать к содействию неодушевленных предметов.

– Пора простому человеку дать дыхание! – надсдается он перед кулечком с капустой. – Довольно над ним потешаться, разбойничать!.. Дайте ход!.. Что вы-с?.. Докуда вам разбойничать, – пора и вам охнуть... Нет, поздоровай бы... Дай в Питер смахать, – я покажу!..

Кулек с кочнями долго и внимательно выслушивал ропот Михаила Иваныча на разбойников и грабителей, безмолвно соглашался с его намерением насчет Питера и так же безмолвно провожал его, когда Михаил Иваныч, с сердцем надвинув шапку, уходил вон из лавки.

Перебравшись через длинную дровяную площадь, в виду которой помещается лавка Трифонова, он обыкновенно направлялся к подгородной слободке Яндовищу, иногда пешком, а иногда на беговых дрожках. Миновав Яндовище, он выезжал в поле, на большую уездную дорогу. Здесь, в трех верстах от города, стояло сельцо Жолтиково, с чудотворной иконой и разорившимся барчуком Уткиным, у которого Михаил Иваныч имел пристанище в кухне и

исполнял разные поручения: ходил к бабушке барчука с письмами о деньгах, узнавал в городе, нет ли какого «представленья», гулянья и проч.

2

Как бы ни странным был Михаил Иванович, набрасывающийся на людей, не обращающих на него ни малейшего внимания, и объясняющий кульку необходимость хода для простого человека, но его злость на прошлые времена, среди людей, проклинающих времена настоящие, обязывает нас к более обстоятельному знакомству с историей больной его груди.

И это знакомство тем легче, что Михаил Иванович сам ищет человека, с которым можно бы было потолковать. Неудовлетворенный беседою с кулком, он прилипает ко всякому, кто хотя мельком взглянет на него, кто хотя от нечего делать задаст ему вопрос или ответит ему. Возвращаясь, например, ночью от Трифонова в Жолтиково, он зорко выслеживает, нет ли где огонька и, следовательно, вопроса и разговора. И где бы ни мелькнул такой огонек – в караулке ли господского сада, в кабачке ли, – Михаил Иванович тотчас привертывает к нему свои дрожки и заводит беседу со всяким, кто попадется ему на глаза.

– Да как же с ними, с чертями, не разругаться! – дребезжит его заморенный голос среди пустынного кабака, где сальный огарок освещает курчавую голову целовальника, покоящегося за стойкой, и высокую фигуру угрюмо пьяного, пошатывающегося мужика. – Как их, бесов, не лаять, не хаять? – продолжал он, намекая своими словами на трифоновских посетителей. – Ты думаешь, ему это и в самом деле чугулька помешала?... Ем-му зацарапать нечего в ла-апу!.. Будьте вы покойны!.. Ему не позволяют по нонешнему времени разбою, – вот он и скулит, как пес: что такое чугунная дорога?..

Сделав несколько торопливых шагов, Михаил Иванович снова близко подходит, почти подбегает к угрюмому слушателю и продолжает:

– Купец-то вон в гроб просится: «Заройте меня живого!..» Эва! новые порядки, вишь, ему не по вкусу!.. А все потому, что ему с приказным нельзя оболванивать простого человека. И слава богу! И даже так, что поздоровее бы господь-батюшка их хлестанул... Очень великолепно!.. Потому они заморили, задушили простого человека. Через ихнее обирание простой человек дураком стал... болваном...

Говоря так, Михаил Иванович не может остаться на одном месте. Гнев заставляет его поминутно отходить от слушателя и тотчас же возвращаться к нему.

– Почему простой человек – дурак, болван? Почему он в жись свою сладкого куска не едал и сапог цельных не нашивал?.. Почему он вместо этого получал по скуле?.. Потому што его сапоги-то чужие носили... Брат!.. Голубчик!.. У чиновника-то, что чугулька лает, небось вон дом; а на какие он труды нажил?.. Жалованья ему всего грош! Откуда-а? – с нас! с нас, христианская душа! Наше все, хрусталь!..

Михаил Иванович любил посылать слушателям эпитеты вроде «хрусталь», «птичка» и проч., не замечая, как и на этот раз, что они не совсем соответствуют тем лицам, к которым относятся. Михаилу Ивановичу некогда было разбирать, что пьяный мужик в грязи далеко не походит, например, на хрусталь: ему нужно было говорить, высказываться.

– На наши! Всё на наши, брат!.. Купец брюхо нажевал по какому случаю? – по тому случаю, что с рабочих либо так с мужиков лупил; у мужика совесть, а у купца ее нету, – вот он и загребает его когтями-то. Вот по какому случаю происходит брюхо! Все они, дома строили и животы растили на наш счет, а наш брат получал по скуле... И немало их было!.. Ох, и ннемма-а-ло, купидончик, было их!.. Задушены мы ими – Так ли аккуратно...

Михаил Иванович, произносящий последние слова с особенною протяжностью, вдруг словно вспыхивает и подлетает к самой бороде слушателя.

– Почему я нищий? – почти кричит он, ударяя себя кулаком в грудь и пристально смотря в лицо мужика. – Скажи ты мне, на каком основании до тридцати лет я дожил, нету у меня ни крова, ни приюта?.. Отвечай: имею ли я равномерную с благородным человеком душу?.. Говори мне!

Часто случается, что во время этих рассуждений Михаил Иванович слушатель успеет заснуть или уйти; но можно сказать наверное, что в пылу гнева на прошлые времена Михаил Иванович решительно не замечает этого; слушателем его может быть курчавый затылок спящего целовальника, ползущий по стойке таракан – все равно. Теперь уже нужно иметь только точку опоры для взора; ни вопросов, ни ответов не требуется; все, что накопилось в его груди, вырвалось наружу и хлынуло рекой.

– Отвечай мне, – вопрошал он затылок целовальника: – на каком основании обязан я быть дубьем, ходить ощупкой? Пред кем я грешен, пред кем виновен? А потому, что я простой человек! Простого звания! На этом основании и я виновен... Всякому мой хлеб был нужен! Кабы я ел свой-то, трудовой хлеб сполна, значит, получал бы, что мне следует, я, может быть, человеком бы был... Милашка моя!.. Может быть, и я бы все понимал, всякую причину, что к чему... А то, рассуди ты сам, как мне ослом-дуриломом не быть, коли я с малых дён нищим был. Ведь мне каши-то с малых дён в рот не влетало, дубина! А почему я недостойн каши? Почему в нашей губернии, коли кашу на стол, баб и ребят вон? А на том основании, что она другим требуется... Теперича десятнику потребна корова, – он к мужику: из каши-то нашей горсточку себе... Сотскому требуется телега, чтоб столярная, например, – он опять к нам, уж поболее зацепляет... Старосте охота пчел держать... голове требуется овец гуртами гонять, чиновников угощать, дом строить, хоромы – всё к нам, всё из нашей каши! А там и над головами, и над старшинами, и над прочими – еще выше были; те уж, брат, на тройках к нам залетывали с бубенцами и всё спаживали, что-которое осталось, – ровно пожаром... Тем поболее пчелы требовалось, тем, братец ты мой, в благородстве надобно состоять, гулять в шляпках, в тряпках! Вот оно по какому случаю мы и побирались, и просили у проезжающих Христа ради, и, ровно собаки, куску радовались!.. Вот оно почему. С этого с голоду-то и родители наши помирали, и сиротами мы оставались... Вот оно что, друг ты мой, купидон, дубина стоеросовая, рыжий чорт!

Безмолвствующий затылок не слышит этих ругательств, и Михаил Иванович может беспрепятственно срывать на нем свой гнев и делиться своими обидами с мертвой тишиной пустынного кабака.

– Вот отчего! – продолжает он. – По тому случаю мы дураки, что прижимка, например, обдерка над нами была большая напущена! Вот чиновник-то орет: «Плохо жить стало!», а ведь эту дубину мы прокармливали, мы ему, шалаю, сюртуки, манишки шили... Я это знаю; я видел, поверьте нашим словам! Потому я не в одной деревне претерпел от этого разбою, я и в городе его видел... Городской разбой пуще деревенского был... Тут простому человеку совсем дыхания не было... Привела меня тетка в город, нашлись добрые люди – мещане, взяли меня жить к себе. Девушка была у них одна... что за умница! Грамоте меня стала обучать, и, может, господь бы дал, в люди бы я вышел, человеком бы был (при этих словах Михаил Иванович с особенною силою ударил себя в грудь, нагибаясь над сонным слушателем). Человеком бы-ы! Так ведь нет, – не дали! Словно они дожидались меня, сироту, потому только было я в тепло-то к мещанину попал, а уж из кварталу бежит скороход. «А где здесь заблуждающийся мальчишка?..» – «А что?» – «А то – пожалуйста его в часть». А зачем? Что я преступил? А то, что солдату трубочки надо покурить, водочки хлебнуть, – вот он и волочет меня в квартал, потому, знает, придут, выкупят... Да еще что-о! Везет меня в квартал-то на извозчике, да и с извозчика-то колупнет: «Где билет? Был у исповеди, у причастия?» Да не на одном извозчике-то везет, а норовит от биржи до биржи, по закону, и со всех получит на свое прожитие; потому всем им, кроме мужика, не с кого взять. Без мужика-то им нечего старшому дать; а старшому тоже

ведь надоть помазать квартального, а квартальному – частного... все на наш счет. Доброму человеку дня было не изжить. Вон мещанин-то мне пользу хотел сделать, добро – так они на него набросились, как скорпии!.. Подлая тварь! Пойми!.. Вот по какому случаю я чиновника-то ноне у Трифонова оборвал... Может, потому я и мучаюсь, что требовался ему каменный дом либо хомут новый: – и он меня в квартале томил и мещанина разорял... У-у! чтоб вам!.. А мало их было охотников-то трубочки покурить, сладкого кусочка пососать?.. Города строили! Что вы? Сделайте милость! С чего нашему городу быть?.. Кабы бабы наши кашей лакомились, небось бы не оченно-то много этак-то народу к осьмому часу к киятру разлетались на жеребцах... Н-нет, брат!.. Н-не очень! а то... «Эй, кричит, задавлю, мужик! Берегись, мол». Эво ли заг-гибают!.. Не знают, на какой манер сытость свою разыграть, – а наш брат нищий и чумовой ходит! Я, брат, видел, как из кварталу меня господа чиновники Черемухины «вынули» на прокормление: тут я уведомился, сколь они с чужих денег ошалели, – пиры, да банкеты, да кувырканья – весь и сказ!.. Голодны они – мужик, простой человек, терпит, дает им корм, а накормит он их – опять тоже ему вред и от эфтого... Теперьче посуды: жил я у мещанина; жена у него померла; осталось у него три дочки... то есть, я тебе говорю, девушки... Что же, брат? Выбегут это на улицу погулять, ан уж тут с сытыми утробами погуливают разные народы... Вот и колесят. «Мы вас замуж возьмем, благородные будете»... А тем и любо! Потому благородными превосходнее быть, не чем этак-то, как они, по ночам иглой тачать, слепнуть... Ну – и... Теперь вон на! поди! глянь!.. ровно как рваные тряпки по лужам валяются! Полюбопытствуй – поди!.. Может, теперь бы у меня такая ли супруга-пособница была, коли б не сытость-то эта краденая. Я почесть полгода дорывался, чтоб она на меня, на чумарзого, взглянула; да по ночам ворочал на заводе в огне да в пламени, чтоб мне лишний рубль достать, ей купить гостинчика полакомиться... А чиновник-то налетел с мадерой, да с гитарой, да с шелковым платком – ан и взял!.. И шиш под нос! Наш брат ободранный человек песню-то поет, ровно режет ножом, потому голос-то наш в огне перекипел, а тот запоем песенку любо-два – ай-люли! Потому в огне он не горел, а больше нашего брата очищал... И бел он, и мадера, и на гитаре, примерно!.. А нашего брата по скуле! Он вон шваркнул ее, Аннушку-то, разорвал ее, словно собака тряпку завалящую, да и побег к осьмому часу к киятру, а наш брат только жилы свои в работе иссушил попусту; потому нам ее уж взять нельзя, Аннушку-то! уж нам невозможно этого! уж она набалована! Ей уж дай платочек шелковый... Он – шелковый-то платок – и нашему брату подходит к лицу, да нам об этом надо бросить думать... вот! Потому мы обязаны быть дураками, ошалелыми, коркой дорожить, по-собачьи жить, – потому наш хлеб другим надобился... Слышишь, рыжая ты шельма? Другие наш хлеб ели, бешеная ты собака!..

– Вон! – внезапно поднимаясь во весь рост, гремит громадная фигура целовальника, сообразившего, что причиною некоторого беспокойства, испытываемого им во сне, было неперестанное разглагольствование Михаила Иваныча. – У-дди! У-убью!

Перепуганный сжатыми кулаками и вытаращенными глазами целовальника, Михаил Иваныч пятится к двери, зажимая рукою рот, чтобы расвирепевшим кашлем еще более не рассердить врага; и так как враг в скором времени высказывает намерение броситься к нему из-за стойки, то Михаил Иваныч и исчезает вон из кабака. Спустя минуту дрожки его дребезжат среди темной дороги к Жолтикову. Но необходимость высказаться не прекращается красноречивым внушением целовальника насчет молчания; Михаил Иваныч снова ищет слушателя, огонька, и снова, завидев его, погоняет свою лошадь, и везде, куда бы он ни привернул свою лошадь, в караулку ли при господском саду, на мельницу, к постоялому двору, – везде слышится его чахоточная речь.

– И очень великолепно, коли кого из этих грабителей чем-нибудь да припрут! Рад я! Душевно. Одна мне и утеха, что на это поглядеть. Потому ошалели мы от них, дураками и нищими стали... В прежнее время чиновник-то трифоновский – он бы меня в гроб вогнал

ни за что... А теперича погодишь!.. И слава богу!.. Теперича еще и простой человек с ними, пожалуй, потягается... Да-а!..

И затем, в подтверждение слов о господстве в старое время прижимки над простым человеком, Михаил Иванович приводил множество фактов из своей биографии. И действительно, фактов этих перебывало на его спине достаточное количество, потому что, в качестве сироты и простого человека, он отведал прижимку и в деревне, и в городе, где жил у мещанина, изнывал в квартале, побирался, и, наконец, в казенном заводе, в качестве рабочего. Результатом этой «прижимки», по объяснению Михаила Ивановича, было одурение и обнищание простого человека, что и можно видеть на нашем рабочем, на нашем простом мужике, немислимых без «зелена вина». Если сам Михаил Иванович ушел от этого отупения и умеет рассуждать о прижимке, то этому есть особенная причина, о которой Михаил Иванович рассказывает не с злостью и негодованием, волнующими его при воспоминании о прошлом, а с какою-то необыкновенною нежностью и внимательностью.

– А потому, – говорит он, разъясняя этот вопрос, – что я имею просияние моего ума!.. Вот-с на каком основании я всю эту разбойничью механику понимаю и чувствую и злюсь! Простой мужик делается от этого балбесом, но я, по моему понятию, получаю чахотку... Вот-с на каком основании. В течение времени моей жизни встретил я человека, который по щеке не бил, но внедрил в мою душу понятие...

Михаил Иванович любил понянчиться с этим воспоминанием из своей несчастной жизни и говорил не спеша, останавливаясь:

– Ну, в то же самое время, – продолжал он, – надо сказать так, что и этот человек, благодетель мой, в первое-начальное время нашего знакомства тоже по щеке меня щелкнул довольно благополучно... для собственной моей пользы... Именно-с «для пользы», по той причине, что наш брат, простой человек, столь от разных народов за все про все наскучен, что и пользу ежели хочешь ему сделать, то и в ту пору без рукопашья не обойдешься... По этому случаю благодетель мой, Максим Петрович, в достаточной степени меня с печи за волосы сгромахнул в первоначальное время знакомства... Такое было дело: докладывал я вам, что из части, когда мещанин помер, взяли меня на прокормление чиновники Черемухины. Бывши в побирושках, в нищих, с холоду да с голоду да с кварталу очень мало я в ту пору на человека сходил, потому что, живши в квартале, коротко и ясно можно потерять человеческий лик и получить собачью манеру. По этому случаю, когда меня ввели в черемухинскую кухню, то стал я хватать съестное, например, съедобное. Стал рвать, набросился. Кухарка назвала меня в ту пору «волчий рот». И так я набрасывался, так набрасывался, до забвения доходил. Отъедался, отъедался я тут быстро, поспешно; вся прислуга у них очень торопливо отъедалась и щеки нагуливала, потому мужики всего натащат, не жалко – ешь! Хорошо. Как только привык я к сладкому куску, стал я свою бедность вспоминать, и стало мне страшно: ну-ко да выгонят отсюда, – что тогда? Страшна мне корка собачья показалась!.. Стал я об себе думать... И делаю такое замечание, что у всех народов идет грабеж. Кухарка и кучер с мужиков, барин и барыня – с мужиков, всё, повсюду, повсеместно идет ограбление человеческое... Думаю: мужик мне не даст, с кого мне?.. Думал-думал, затруднялся в мыслях, глядь – бежит ко мне на печку барчук махонькой, черемухинский сынок: «Скажи сказочку...» Изволь. Сказал. Он и повадился ко мне на печку шататься сказки слушать. «Э, думаю, друг-приятель; надо быть, тебе в хоромах хвост-от присекают, что ты во мне, в мужике, получаешь нужду...» Подумал так-то. Бежит барчук: «Скажи сказку...» – «Дай копейку!» Эдак-то резанул. «Дашь – скажу, нет – не будет рассказу. Я и то, мол, язык весь отколотил, рассказываючи тебе». Припугнул его таким манером, и стал он мне пяточки да грошики таскать, и стал я их попрятыть... И так было ловко научился я поколупывать с него; ан тут-то и подвернись ко мне человек... Максим Петрович... семинарист, племянник черемухинский. Часто он к нам в кухню хаживал, дожидаясь, пока дяденька, сам Черемухин-то, проснутя, – полтинничек у него попросить... Когда тверез – тихий такой...

«На сапоги», говорит... А Черемухин. «То-то, говорит, на сапоги?..» И сердито на него смотрит, а тот боится. Это когда тверез. Ну, а коли ежели да пьян, так уж тут никакого страха для него нету... Тут уж он кричит, бунтует... И дяденьку-то так-то ли поливает... «Взяточники, разбойники!.. Докуда вы разбойничать будете?. Провались вы и с полтинниками...» Раз зимой скинул с себя полушубок и шваркнул его обземь. «Подавитесь вы им!..» и ушел. Бывало так, что и стекла он выбивал в дому и ворота исписывал ругательскими словами. Вот я на этого человека и наскочил... От него я и получил вдохновение, например. То есть сначала-то он меня за виски отворочал, а потом уж объяснил мне существо... Лежу я с барчуком на печке и делаю с ним подлый поступок: продаю ему кошелек, а в обмен требую с него серебряную цепочку... Кошелек цена копейка, а цепочка стоит пять серебром. Желаю я ее получить. Барчук ничего не смыслит: взял да и поменялся, а потом рассмотрел – и в слезы... «Отдай!» плачет. А я ему: «Нет, говорю, не отдам, потому что ты видел, что покупал. Назад не ворочают. Где у тебя глаза были?..» По-базарному поступаю... Максим Петрович пьяный сидел-сидел, слушал-слушал, да шарах меня за волосы с печи... «Мошенник! вор!.. С каких лет мошенничаешь!.. И без тебя много мошенников!..» Да за ухо... за ухо... Тут он меня щекотурил... Цепочку отнял, шваркнул: «Краденую воруеть!..» С этого дня стал я его бояться... Страх почувствовал; боюсь встретиться; ан раз несу водку господам из конторы, он – валит с приятелями пья-а-аный. «Что такое? стой! Куда? Водка!.. Неси к нам... Там, брат (у дяди-то), за другой четвертью пошлют... Там есть на что выпить...» Тут они меня поволокли в свою квартиру: бедность непокрытая, тараканы... Я сижу, боюсь. «Чего ты? Холуй! Раб!.. С каких лет мошенничаешь!..» Поругали вторительно, а потом сжалились. «Поди сюда, – говорит Максим Петрович. – Ты зачем мошенничаешь? Жить надо? Так нешто грабежом-то хорошо будет?.. Давайте книжку, я его обучу... Как ты думаешь, грамота лучше грабежу?» И сейчас стал меня учить. Тут я ничего не понял, потому пьяные они были; мало-мало погода и сам к ним пошел... «Обучите», говорю. Там их много кутейников²-то было: кто слово покажет, кто так что-нибудь... Я и нахватался, и не умею вам сказать, каким манером, только что стал я тут понимать, почему это наш брат в дырах, в лаптях, например. И в первый раз в голову мне влетело: «за что же, мол, этак-то?..» Разговоры ли ихние, Максим Петровича, или грамота, уж верно не могу объяснить, а что страсть сколько я разбойников вдруг увидел! И, может, господь мне и больше понятия бы дал, только что пошло вдруг во всем расстройство...

«С войны это расстройство пошло³... Целые дни, бывало, стоишь на улице, смотришь, как везут на войну пушки да сабли. «Эдакие, – дивовался народ, – на человека страсти припасены!» Пошли тут наборы, мужики, бабы режут, голосьба по всему городу. У Черемухиных идет огребанье невиданное, пьянство, жранье – боже мой!.. «Господи! – помню, жена Черемухина плачется: – когда это все кончится!..» Ан скоро и кончилось... Прошла война, налетели ревизоры, всех взяточников повязали... Тут пошло швырянье – упаси бог! Один – вор; другой ополченцам сапоги на кардонной подошве делал; третий в рекруты забирал без закону... Стали кидать, швырять подлецами: один вниз, другой вверх, третий торчмя головой... Черемухина выгнали в другую губернию. Максим Петрович так-то ли поспешно в Питер ускакал. «Прощай, говорит, помни. Выпишу». Однако же не выписал. Стал я у Птицыных жить, у генералов, и там пошло все врозь. Все сыновья ворами оказались. Плач идет между грабителями. Поглядел, поглядел я, вижу – не до меня им: надел картуз, пошел своего хлеба искать. В ту пору на казенный завод⁴ стали принимать людей со стороны, не казенных, стало быть, – я и

² Кутейники – шуточное прозвище церковников, здесь – семинаристы.

³ *С войны это расстройство пошло...* – Имеется в виду Восточная война (1853–1856). Неудачи в Восточной войне содействовали развитию освободительного движения в стране.

⁴ *Казенный завод.* – Имеется в виду Тульский казенный оружейный завод. До 1864 года завод обслуживался *казенными людьми* – прикрепленными к нему государственными крепостными. В 1864 году тульские оружейники были освобождены от крепостной зависимости и перечислены в мещане, а завод стал обслуживаться вольнонаемными рабочими.

попал в завод... В лесу страшно, когда ежели гром да молонья, а тут в заводе еще страшней. Потому в лесу – дело божье, непонятное, там страх берет, а тут злость – потому видишь, из-за чего гром-то идет, из-за чего молота молотят, ножницы разеваются и наш простой человек недоест, недопьет, а в огне горит... Пить бы надо – слаб! не мог, а все больше злился, потому которые я получил от Максима Петровича мысли, то никаким родом они у меня из головы не выходили. Злился-злился я, бесился-бесился, да одна подгулял и махнул в арендателя камнем⁵... Спасибо, скрость колесо камень прошел, а то б в каторге быть. Да еще то облегчило, что ночью дело было, не могли вызнать, кто такой, так что собственно по подозрению шесть месяцев высидел... Вышел из заключения, вижу – везде я: бунтовщиком оказываюсь, никто не берет, и на частные мастерские не допускают... Остался я один; на кого надежда? Окроме Максима Петровича кто ж мне защитник? Дай обладят чугунку... Я на него надеюсь... Нонче, брат, и им тоже очень мало готовых кусков: не то время идет. И рад я, коли ежели кого из них припрут, рад... Купец-то вон: ох-хо-хо, кряхтит! хорошо! отлично!..»

3

Михаил Иванович, известный давно на заводе за строптивого и непокорного человека, последней своей историей с камнем и арендатором окончательно повредил себе; так как все частные заводчики смотрели на ропот его не иначе, как на бунт, то Михаил Иванович, выгнанный с завода, остался буквально без куска хлеба, ибо его нигде не принимали. В эту пору его можно было встретить в небольших подгородных деревеньках, где он писал бабам письма и прошения, получая за работу яйцо, кусок хлеба. Письма выходили такого рода: «Честь имею известить вас, единокровная дочь наша Авдотья Андреевна, что мы, родители ваши, с маиа месяца сего... года состоим без куска хлеба, в полном смысле этого слова, и почтительнейше уведомляем вас, что подаяния от мирового посредника с сего ... месяца настоящего сего года прекращены» и т. д. Извещая о деревенских новостях, Михаил Иванович всегда умел среди неурожая и подаяний вставить некоторые фразы, обретавшиеся в фонде его образования и просияния. Но такой работы было мало. Работы «мужицкой», молотбы, косьбы – он исполнять не мог: у него болели ноги от стоячей заводской работы, и поэтому долгое время пробавлялся, чем мог, и скитался, где пришлось. Среди этой нищеты и одиночества в голове Михаила Ивановича воскресло воспоминание о Максиме Петровиче, и больная душа тотчас же наполнилась какою-то неопределенною надеждою на его помощь, а больная, забитая голова довела эту фантастическую надежду до громадных размеров. Большие быстрые глаза голодного Михаила Ивановича и его фразы насчет этих надежд, насчет чугунки и Петербурга – весьма рассмешили юного потомка господ Уткиных, когда тот однажды вечером, проезжая по дороге на старой громадной и худой лошади, случайно наехал на Михаила Ивановича, лежавшего в канаве и бормотавшего:

– Нет, брат, не то время! Дай чугунку обладят!

О барчуке Уткине нам покуда надо знать только то, что денег у него не было; что жил он в имении, подлежащем описи; думая, во-первых, основательно заняться подготовлением к практической деятельности, он в то же время не менее основательно думал и овладеть приказчицей дочерью и все эти вопросы разрешал внезапным выстрелом из ружья в глубине отцовского сада, разговором с приезжим из города гостем о современных вопросах, которые прерывались тотчас по появлении где-нибудь вблизи деревенской бабы, поездкой в город на гулянье и т. д. Из всего этого следует, что барчук скучал, и, среди скуки, лежащий в канаве при дороге Михаил Иванович мог обратить на себя его внимание.

⁵ ...махнул в арендателя камнем... – С 1864 года Тульский оружейный завод был передан в аренду генерал-майору Х. К. Стандершельду.

- Вы кто такой? – спросил барчук, когда Михаил Иваныч выскочил из канавы.
- Отставной рабочий... с заводу-с... Выгнан за бунты.
- За что?
- За непокорность, потому что я разбойничать им не позволял... Не согласен я на это!

Довольно.

Эти речи до того показались Уткину ни с чем не сообразными и до того заинтересовали его, что он позвал Михаила Иваныча к себе поговорить, а потом, боясь скуки, сказал Михаилу Иванычу, чтобы тот оставался у него в усадьбе.

Михаил Иваныч поселился в кухне и в короткое время пошел у всех за большого чудака. Не один барчук смеялся всякий раз, когда из уст его выходили слова вроде «прижимка», «к осьмому часу, к киятру», «уведомился» и проч. Причины этому были его рваные локти, поставленные рядом с Петербургом и чугунок. В сущности же Михаил Иваныч был человек, потерпевший от отечественной прижимки в тысячу раз более других вследствие того несчастья, которое он определял словом «просияние ума», человек, которому осталась одна утеха: созерцать затруднения, выпавшие благодаря «новым временам» на долю людей, привыкших жить на чужой счет.

II. В ожидании чугушки

1

Исполняя некоторые поручения барчука, Михаил Иванович хотя и не ел даром господского хлеба, но и не был особенно завален работой, так что, помимо поездок в город по поручениям, у него оставалось еще достаточно времени, чтобы отдохнуть, отдышаться на свежем воздухе. И в Жолтикове была к этому всякая возможность. Стоит оно на высоком холме, окруженное лесами, оврагами, лугами. Заморенный городом, Михаил Иванович благоговееет перед природой, как не может благоговеть деревенский житель; гроза здесь не то, что в городе, в рабочей слободе. Там гром колотит в крышу, шатает печную трубу, за которую нужно платить печнику; результаты ее – грязь по колено и лужи, по которым люди ходят с проклятиями. В деревне это явление принимало другой вид, и Михаил Иванович мог определить его только словами «премудрость», «благодать»... Собаки деревенские, караулящие от лихих людей, тоже возвышали, по его понятию, деревню перед городом, где ту же должность исполняли будочники, сворачивающие скулы.

– Собачка, – говорил он, – она умница: я с ней могу поиграть, а с хожалым у меня игра слабая.

Густой старинный сад, весь изрезанный зарастающими дорожками, также манит Михаила Ивановича: по целым часам он бродит в этих заброшенных аллеях, слушая птицу, шум засеки, а иногда и засыпает, сидя на подгнившей бледнозеленой скамейке. Но озлобленная прижимкой душа Михаила Ивановича не могла долго быть покойной, тем более что на каждом шагу попадались вещи, где Михаилу Ивановичу выглядывал чужой труд, потраченный без толку.

– Михаил Иванович! – говорит барчук, торопливо проходя мимо него по саду, чтобы выстрелить из ружья в галку: – так «уведомились»?

– Я довольно аккуратно в жизни своей уведомился, как простому человеку... – начинает Михаил Иванович вслед барчуку; но в этот момент раздается выстрел, крик разлетающихся галок и лай собак.

– Эх, ума-то нагулял! – иронически шепчет Михаил Иванович, качая головою: – Сколько, чай, – хребтов на эдакую-то тетерю пошло?.. Прок!

– Были у Синицына? – возвращаясь с убитой галкой, спрашивает барчук.

– Был-с.

Михаил Иванович говорит с сердцем, но старается скрыть это.

– Афиш не было-с, разобраны! – продолжал он.

– Что ж в городе?

– На столбу объявлено воздухоплавание слона... в «Эрмитаже». Рубь за вход.

– Чорт знает что такое!

– Во всех Европах одобряли монархи, – прибавляет Михаил Иванович, не скрывая негодования и как бы говоря в то же время: «стоишь ли ты слона-то смотреть?»

По уходе барчука на траве остается мертвая птица. Михаил Иванович смотрит на нее и говорит:

– Вот это господское дело!.. Хлопнул – и пошел. А ружье кто ему выработал?

Достаточно такого случая, чтобы все соображения Михаила Ивановича об участии простого человека поднялись целым роем. Через пять минут по уходе барчука его уже можно встретить в кабаке перед целовальником.

– Не беспокой!.. Оставь меня! – умоляет целовальник, с трудом приподнимая тяжелую голову, покойно лежавшую на локтях. – Не абеспокоивай меня!

– До-ку-уда-а? – надсается Михаил Иванович. – Докуда бедному человеку разутым ходить? Что на него работали, сколько денег на него дуrom пошло?..

– Михайло! – вскрикивает целовальник. – Какие мои слова?

– Ха, ха, ха! – грохочут через несколько минут на мельнице. – Кормили, поили яво, а он – в галку?

– Д-да-а, брат!.. Кабы ежели бы он отдал... – Держи карман – отдал!.. Хо, хо, хо...

У Михаила Ивановича так много накопело в груди, что никакой слушатель не в состоянии выслушать всего, что он желал сказать. Это обстоятельство служит, причиной, что все считают его чудачком, который почему-то злится толкуя о какой-то галке или о ружье. С другой стороны, постоянная насмешка всех, от барчука до приказчика, и отсутствие достаточно внимательных слушателей заставляет его чувствовать себя совершенно одиноким, покинутым. Михаил Иванович, у которого на уме одна мысль, что с открытием чугунок ему совершенно необходимо съездить в Петербург, вдруг начинает беспокоиться, что чугунок уж открыта и ушла без него. В таком случае, если бы у него и не было поручений от барчука, он выпрашивал беговые дрожки и ехал в город.

Часу в восьмом утра дрожки его торопливо мелькают по березовой аллее, пролегающей мимо церкви и поповских домов. Михаил Иванович, подкрепленный свежестью и блеском летнего утра, весело похлестывает лошадь и весело смотрит вперед, не обращая внимания на то, что какой-то краснобай кричит ему:

– Ушла?.. В ночь ушла!.. ха, ха, ха!

Эта насмешка заставляет его поспешней добраться до холма, с высоты которого открывается вид на город, изобилующий золотыми крестами, красными и зелеными крышами. Картина эта не останавливает его внимания – он смотрит левей, где видна желтоватая насыпь дороги, недостроенный вокзал и толпы людей с тачками...

«А ведь, пожалуй, и ушла!» – думает он и быстро подкатывает к вокзалу.

– Что ребята, не ушла машина? – адресуется он к рабочим на лесах.

– Нет еще!..

– Ай не обладили?

– Облаживаем.

– Ладьте, ребята!.. Ладьте, матушки... Проворней!

Так как Михаилу Ивановичу всегда остается очень много времени, то он позволяет себе шажком объехать вокзал, оглядывает его и говорит:

– Тут ума надо!..

– По три сажени дров жрет смаху! – кричат рабочие с лесов, стуча топорами и шурша шпукатуркою.

– Стоит! Стоит этакой шутовке и поболе!.. – с увлечением говорит Михаил Иванович и в заключение прибавляет: – Ну, ладьте!.. Облаживайте, ребята! Старайтесь, чтоб ошибки какой не было!..

2

Путь лежит в город через слободку Яндовище, где у Михаила Ивановича между рабочим народом много знакомых, так как здесь он сам жила долгое время. При въезде в улицу, начинающуюся кузней, лицо Михаила Ивановича теряет то оживление, которое придавало ему утро и чугунок; лошадь, которую он начинает называть «горькая», «мертвая», идет тихо: Михаил Иванович едет по тому царству прижимки, от которой единственное спасение – Максим Петрович; ибо ни в этих домишках, осевших назад во время приколачивания к ним нумера, ни в этих трубах, похожих на решето, ни в этих воротах, слепленных из дощечек, решительно не

усматривается того, по поводу чего Михаил Иванович мог бы сказать – «Не то время!», как это он говорит при виде доживающего произвола...

– Ваня! – грустно сказал Михаил Иванович, останавливаясь у одной кузни, лепившейся рядом с крошечным двориком.

Высокий черный и худой человек, стоявший в глубине кузни у пылающего горна, только обернулся на эти слова вытаращенными глазами и не сказал ни слова.

– Ванюша! – повторил Михаил Иванович, привязав лошадь и входя в кузню. – Что-о? Здорово! Обмякли дела?..

Вместо ответа Ваня сердито и торопливо засунул железо в горн и, попрежнему не говоря ни слова, вышел из кузни, причем большие вытаращенные глаза его как бы сказали: «в кабак». Идя проворно сзади шедшего Вани, Михаил Иванович видел, как он, не оглядываясь и как бы мимоходом, овладел железным баутом, видневшимся из-за ставни одной хибарки, и юркнул с ним в кабак. Нужно было не более секунды, чтобы оторванный баут был грохнут на кабашную стойку, чтобы целовальник, мельком взглянувши на него, спихнул его куда-то в яму под стойку и выставил водку.

– Это так-то? – сказал Михаил Иванович, взглянув на Ваню.

Но Ваня, молча совершивший все это, так же молча и торопливо выпил стакан водки, отошел в угол и, обернувшись оттуда, буркнул Михаилу Ивановичу:

– Обмякло!..

И снова сжал рот, загадочно смотря на Михаила Ивановича глазами, какими смотрят немые. Михаил Иванович тоже смотрел на него.

– Они потеряли всякий стыд! – пояснил целовальник: – потому что они в настоящее время обкрадывают друг друга – в лучшем виде. Даже удивляешься, – прибавил он стыдливо.

Но Михаил Иванович, не обращая внимания на это объяснение и глядя на Ваню, видел, что прижимка цветет и не увядает. Она изуродовала человека до того, что он лишился возможности выразить то, что у него на душе, а может только тупо смотреть, молча плакать, скрипеть зубами и вертеть кулаком в груди...

– Убечь от вас – одно! – сказал Михаил Иванович, вздохнув и отводя от Вани глаза. – Надо, надо убечь!

– Что, душеньки, – робко произнесла женщина, войдя в кабак, – бауту не получали ни от кого?

– Какие бауты-с! – гордо ответил целовальник, не поднимая глаз. – Что такое-с? Что вы считаете?.. У вас нет ли чьих?..

– Я вить так... чуть... что ты?

– То-то-с!.. Почему у Андрея трех досок в крыше нету?..

– Уж спросить нельзя! – сказала женщина, улыбаясь беззубым ртом. – Набрасывается!

– Отыщите-с! – заключил целовальник.

– То есть только бы господь вынес! – испуганный этим обманом и грабежом, проговорил Михаил Иванович. – Надо, на-адо в Питер!.. Что это тебя ест? – отнесся он к Ване, который все время сновал и останавливался, как зверь в клетке.

– Жена! – брякнул тот, хватил стакан водки и одним шагом очутился на улице...

Михаила Ивановича рвануло за сердце.

– И что это еще эти шкуры выдумывают? Где она? Я ей... – сердито говорил он, догоняя Ваню... – Чего они еще мудруют, не умудряются?.. Везде нашего брата обчищают, а тут домой придешь избитый да измученный, и тут тебя еще ожигают! Одурели! Баловаться-то не с чего... Ошалели!..

Говоря таким образом, он дошел до Иванова жилья и отыскал его жену. Это была изможденная, какая-то сырая женщина, вялая, словно полинялое платье, в котором она была.

– Что вы, Федосья Петровна, забунтовали? Что вы заставляете мужа воровать чужое да в кабак таскать? Почему так? Али вы не знаете, что и без этого наш брат терпит? Что вы-с? Себя пожалейте.

– Я, Михаил Иванович, не бунтуюсь... – едва внятно и испуганно проговорила жена Вани. Смущенный тоном ее голоса, Михаил Иванович уже гораздо тише продолжал:

– Как же не бунтуетесь? Уж с чего же нибудь да пьет он? Уж что-нибудь да...

– Потому что Иван Иванович в том имеют сердце, что я не своим делом занимаюсь.

– А вы бросьте! У вас свое хозяйское дело на руках. Что вам в чужое соваться? Вы и с бабьим-то делом много помочи окажете... Вы, значит, держитесь своего...

– Чего ж мне, Михаил Иванович, за свое дело держаться, коли нету у нас никакого хозяйства? Печка развалится, и совсем без печки останемся. Что я буду хозяйствовать? – полена дров нету.

Михаил Иванович оглянул жилье и молчал.

– А Иван Иванович в том сердчают, что я им хочу помочь оказать. Когда у меня женского дела нету, я мужским хочу заняться... Думаю: обучусь я ихнему мастерству. Все что-нибудь добуду для дома... За это они и сердчают и быют, коли увидят, что я на станке занимаюсь. «Не твое дело! Что ты, баба, можешь!..» Только у них и слов: «Не видано этого, чтобы баба...» и быют... «Дайте мне обучиться!» – а они...

– Ах он, стоеросовая дубина! – озлился Михаил Иванович и вскочил. – Чучело! – закричал он на Ваню. – Что ты мудруешь? Да что вы? Вы очумели совсем...

Ваня стоял к нему спиной и не отвечал. – Как же ты не понимаешь, что жена хочет тебе пользу делать? Это вот никто-тебе помочи не давал, так ты и не веруешь...

– Не видано! – буркнул Ваня и заворочал мехами.

– Да дай ты ей обучиться-то, дубина!.. Попадись к вам человек с понятием, вы его в гроб вгоните... Вы очумелые...

Михаил Иванович долго вразумлял Ваню насчет пользы, которую ему хочет оказать жена; но в голову его собеседника решительно не входила мысль о том, что женина затея может иметь благоприятные результаты. Да и, кроме того, ему было обидно за жену – «жена не на это дадена»... Словом, ему было скучно утратить в жене женщину и получить «работницу»... Он молча ворочал мехами и калил свое лицо среди летевших искр. Кроме отрывистого «не видано», Михаил Иванович не мог добиться ни слова.

– Ну чорт тебя возьми! – взбешенно проговорил он и ушел. – Тут с вами сам пропадешь. Вот сделай, сделай с ними! Ах, убегу, убегу!

3

– Надбавка? – это, брат, верно будет! – донеслось до Михаила Ивановича, когда он старался поскорее выехать из этой ужасной стороны.

Эти слова, произнесенные весьма самодовольным голосом среди стонущего царства прижимки, заставили его остановить лошадь.

– Кто надбавляет? – отрывисто спросил он высокого подгулявшего рабочего.

– Проезжай! – закричал тот.

– Пошел своей дорогой! Допросчик нашелся!.. – прибавил другой спутник.

– Ты не зевай! – оборвал его Михаил Иванович. – Я, брат, сам зевать-то умею; а коли ежели у тебя спрашивают, отвечай по-человечьи. Что я тебе сделал? Что ты по-собачьи лаешь?.. Кто дает надбавку?

– Хозяин! – тоже отрезал рабочий сердито и пошел в кабак.

Михаил Иванович не оставил его и отправился вслед. При его входе небольшой котелок, хранившийся под полкой одного из рабочих, тем же порядком, как и баут, загремел под стойку. Два друга уселись за выпивкой.

– Кто такой надбавщик явился? – спросил Михаил Иванович.

– Говорю: хозяин новый... молодой...

– Надбавил?

– Ожидаем!.. Потому большое старание есть в нем об нас... Обхождение благородное... Собрал всех посереде двора, пил чай вместе... увместях с нами... «Вы, говорит, потеряли образ божий... лик, например... от этого вы и»...

– Ну, ну! – понукал Михаил Иванович.

– Ну... призывает к себе, лежит на диване и разговаривает: «Идешь ты, говорит, по базару, видишь картину, а понять не можешь, – обидно тебе?» Мы ему: «Обнаковенно нам стыдно...» – «Ну, надо грамоту»... Календари выдал...

– Вычел?

– Дарром! Эва... так – «на!» Чтобы справка была... какой, например, теперича ответ и за что... в какое время... и все такое...

– Старается, чтобы мы к нему чувствовали стыд!.. – присовокупил другой товарищ рабочего. – Теперь у нас стыда нету. Мы разобьем рожу, идем как расписанные, словно господа в шляпках: – нам горя мало! А в то время, чтоб мы стыдились этого... Вот в чем! «Чтобы мне, говорит, не страшно было подойти к вам... потому вы вроде чертей!»

Как ни благородны были планы нового «молодого» – из московских – хозяина, но Михаил Иванович, узнававший прижимку во всех видах и оболочках, не мог не заметить ее и здесь, хотя, быть может, хозяин и не имел ее в виду. Но так как тот же хозяин, требовавший от рабочих образа божия, сам пожертвовал им только компанией за чайным столом да календарями, которые стоят ему грош, то злоба Михаила Ивановича закипела еще сильнее.

– Эх, чумовые! – сказал он, трясая головой. – Неладен ваш хозяин-то, погляжу я...

– Оставь, не говори!.. Елова голова!.. Чай пил...

– Н-неладен!.. – настаивал Михаил Иванович. – Зачем тебе стыд?

– Эва! Для аккурату... само собой... чтоб я его чувствовал.

Рабочий остановился.

– Ну, а коли ежели ты чувствовать его будешь, складней будет али нет? Уж тогда ты не понесешь котелка в кабак?

Рабочие молчали.

– Теперича у тебя стыда нету, и то ты котлы в кабак таскаешь; а как да стыд-то у тебя будет – ты и совсем пропьешься. Теперь и без стыда ты пужлив, теперь тебя хозяин и без образу может оболванить по вкусу... А со стыдом ты еще пужливей будешь. Тебе уж будет стыдно к хозяину грубо подойти... Не нужно нашему брату стыда! – зашумел Михаил Иванович. – Не надо-о! С нас драть стыда нету, а нам требуется вдвое того... Эх, тетери!..

– Это, брат, ты верно!.. Это ты...

– Он чаю-то с вами на двугривенный выпил, а ты вон уж котелок-то женин тащишь... Тебе неловко к нему подойти, попросить... Ты и будешь свое таскать, жену, ребят грабить... А пропьешь, он тебя за грош возьмет; «кабы ты имел образ, я б тебе больше...» А ведь и образ-то ты от него потерял!..

– А именно, что женин я котел спихал!..

– Ну на что тебе календарь?..

– Да я его пропил! – закончил мастеровой, и громкий хохот раскатился по кабаку.

– А зеваешь, дурак! – сказал Михаил Иванович мастеровому. – За что ты меня облаял вчерась? Спросить у тебя, у дурака, нельзя ничего. После чаю-то ровно собака сделался... Надба-авка! Осел лохматый!

Хохот продолжался; но рассерженный Михаил Иванович ушел, не сказав никому слова.

Такие сцены наполняли безнадежностью душу Михаила Ивановича, и всякий раз, насмотревшись на них, он искал случая сорвать на ком-нибудь сердце: «Куды лезешь! – кричал он тогда встретившемуся купцу: – Держи левей, еловая голова!» – «Но-но!.. Я, брат, тебя за эти слова...» – «Нонче, брат, и я тебя ожгу, держи своей дорогой... Что купец, так и при на человека?...» В эти минуты ему необходимо было утешиться зрелищем сцен, где бы человек, имевший в руках власть над простым человеком, сам попадал в лапы к прижимке. И такой уголок был у Михаила Ивановича.

– Пойдем к Аринке! – говорил он, хлеснув лошадь вожжой.

4

Арина принадлежала к числу тех субъектов, которые «в нынешнее время» поднялись снизу вверх. Михаил Иванович недолюбливал ее за то, что она занималась ростовщицеством, то есть все-таки более или менее разбойничала; но он охотно прощал ей это занятие ради тех страданий, которые она вынесла во время долгого подневольного житья в крепостных. Вся улица, где стоял дом ее господ, называла этих последних зверями, и действительно это были какие-то охотники воевать над простым человеком. Подъезжая, например, к дому, барин не звонил и не стучал в дверь, а только провозглашал: «ворота!», будучи почти уверен, что голос его не может достигнуть кухни, стоявшей в глубине двора. Крик этот повторялся несколько раз до тех пор, пока кто-нибудь из прислуги случайно не замечал барина и не отворял ворот. Но барин сидел на морозе, ждал: – и начиналось дранье и бушевание. Не было ни у кого такой заморенной, забитой прислуги, как у этих господ. Она находилась у всех соседей в глубоком презрении, потому что слыла за воров и мошенников: нельзя было повесить сушить белье, пустить цыплят на улицу, чтобы все это тотчас же не было похищено ими. Арина находилась в числе этой заморенной прислуги и всю жизнь не видала света божьего. Среди этого житья она сделалась совершенной душой. Странно было глядеть на ее испуганные глаза, когда она, бывало, поздним вечером пробиралась в какую-нибудь соседскую кухню и тайком продавала здесь молоко или какой-нибудь платок, цена которому был грош. Не один Михаил Иванович мог уважать ту непомерную силу терпения Арины, которое помогло ей, среди этого варварского житья, скопить кое-какие крохи, доставившие ей впоследствии завидную долю влияния над благородными. После крестьянской реформы господа ее, убитые необходимостью отнять свои руки от щек и волос рабов, как-то скоро исчезли с лица земли – умерли. Арина, в эту пору уже старая женщина, подыскала себе какого-то юного дуралея из кучеров, женила его на себе и стала отдавать под проценты деньги. Так как вместе с крестьянством рухнуло благосостояние и чиновной мелкоты, населяющей переулки, то Арина в короткое время сумела изловчиться в пользовании такими терминами, как «строк», «процент», «под расписку», загнала в недра своих сундуков беспорочные пряжки, шпаги, мундиры с фалдами, купила дом и могла жить в свое удовольствие.

– Ешь! – говорила она своему супругу.

– Надоело... будя! – потягиваясь, говорил тот.

– Чего ж тебе? Может, тебе чего сладкого либо моченого?

– Пожиже ба! С кислиной ба чего!..

– Ну и с кислиной. Вот об чем! Коли бы не было... А то ведь – скажи... Слава богу!

Говоря так, она любила порыться в своих сундуках, полюбоваться своим добром, переложить его с места на место, развесить все эти мундиры по заборам и посередь двора, ходила при этом близ них и утомленным голосом говорила слушателю:

– Куда человеку беспокойно, коли ежели денег у него много... Ах, как ему беспокойно!.. Только мученье через это... Ох, деньги, деньги!

Михаилу Иванычу было приятно полюбоваться этим торжеством заморенного человека, и он заезжал сюда отвести душу, хотя в сундуках Арины покоились его две рубашки и жилетка.

– Ну что, карга, – говорит он, входя к Арине: – как грабишь? Все ли аккуратно оболваниваешь?

Арина, одетая в ваточную кацавейку, подносит водку какому-то мужику и говорит, не обращая внимания на Михаила Иваныча:

– Кушай-кось, Иван Евсевич... На доброе здоровье, дай бог вам счастливо!

– Дай вам, господи! – говорит мужичок. – Коли ежели бог даст, укупим его у господ...

– Чего это? – вмешивается Михаил Иваныч.

– Дворец господский имеем намерение...

– Дворец!.. – жеманно и как бы недовольно говорит Арина. – Дворец господский укупают... словно бы диво какое.

– Важно, важно, брат! Тяни его! Вытягивай из чулка-то шерстяного, что утаил. Именно богатое дело!.. Вали!

– Хе-хе-хе! с мужиком мы тут, признаться... – хихикал лысенький Евсевич.

– Полезайте! – злобствует Михаил Иваныч. – Очень превосходно! Вали в лаптях в хоромы, чего там? Утрафьте прямо с корытами да онучами... Чего-о? Именн-но! Хетектуру эту барскую – без внимания...

– Хетектура нам – тьфу!.. Что нам с простору-то? Простору в поле много...

– Что с него с простору? – тем же тоном присовокупляет Арина.

– Нам главная причина – железо! Мы из яво, дворца-то, железа одного надергаем – эво ли кольки!..

– Дергай, брат! Выхватывай его оттудова...

– А которая была эта хектура, камень, например, кирпич, редкостные!.. Кабаков мы из него наладим по тракту с полсотни... Верно так!

– Разбойничайте, чаво там! запрету не будет!

– Какой запрет? Мы дела свои в аккуратности, чтобы ни боже мой...

– Ну выкушайте! Дай бог вам! – заключает Арина.

При выпивании водки хитроватые глазки Ивана Евсеича замуриваются, вследствие чего все лицо его изображает агнца непорочного.

«Ишь, – думает Михаил Иваныч, глядя на нищенскую фигурку Евсеича: – узнай вот его!...»

По части торжества прижимки, исходящей уже из среды людей «простого звания», у Арины большая практика.

Не успел потешить Михаила Иваныча убогонький мужичок, как сама Арина выступает на сцену с рассказом, тоже приятным для Михаила Иваныча.

– И что это, я погляжу, – говорит она, улыбаясь и как-то изнемогая, – и сколько это теперича стало потехи над ихним братом.

– Ну, ну, ну! – торопит Михаил Иваныч.

– Даже ужас, сколько над ними потехи! Онамедни идет, шатается... «Я ополченец... возьмите в залог галстух... военный...» Смертушки мои, как погляжу на него!

Все хохочут: и Михаил Иваныч, и Евсеич, и дуралей муж Арины оскалил свое глупое толстое и масляное лицо.

– «Что ж это вы, говорю, по вашему званию и без сапог? – трясясь от смеха, едва может произнести Арина. – Верно, говорю, лакей унес чистить?»

Смех захватывает у всех дыхание, так что в комнате царит молчание, среди которого смеющиеся хватаются за животы, закидывают назад головы с разинутыми ртами и потом долго стонут, отплеваются и отхихиваются.

– Хорошенько-о! Хорошенько, бра-ат!.. – красный от смеха, говорит Михаил Иваныч, нагибаясь к Арине и хлопая ее по плечу.

Эти сцены подкрепляли Михаила Иваныча и приятно настроивали его упавший дух. Но так как на пути в Жолтиково он имел обыкновение заезжать в лавку Трифонова, то ропот посетителей ее снова начинал злить Михаила Иваныча, и он начинал набрасываться на купцов и чиновников, как собака.

– «Хижина дяди Тома», исполненная декоратором Федоровым... на открытой сцене, – сурово докладывал он барчуку, возвратившись в Жолтиково, и норовил уйти.

– Куда вы? Погодите! – останавливал барчук, лежавший на кровати без сапог, с книгой в руках, в которой он перевертывал по тридцати страниц сразу, думая о приказчицкой дочери и норовя при первой возможности отделаться от книги. – А в театре?

– Больше ничего-с! С бенгальским освещением грота... волшебное... Рубь! Одобряли монархи...

И никогда скучавшему барчуку не приходилось получить от Михаила Иваныча другого, более ласкового ответа. Он уходил и роптал где-нибудь перед пьяным дьячком.

– Ты думаешь, это ему чугунная дорога в самом деле составляет препону?.. Ему зацарапать нечего... во-от!..

– Оставьте, будет вам!.. – останавливали его.

Так проводил Михаил Иваныч время, ожидая чугунную дорогу и утешаясь созерцанием обнищавшего «благородства».

III. Разоренные

1

И нельзя сказать, чтоб время убавляло эту потеху; напротив, количество людей, поставленных бездоходом в трогательное и смешное положение, увеличивалось с каждым днем. Если бы сердце Михаила Ивановича не помнило того сладкого куска, который в дни его нищенского детства случайно попал ему в кухне Черемухиных, то он бы мог устроить себе славную потеху, любуясь их теперешним разореньем. Но Михаил Иванович помнил этот кусок, и когда однажды, явившись к Арине, чтобы отвести душу, – узнал, что они разорились, сумел схоронить в глубине души свою злобную радость, хотя имел на нее полное право, если принять в расчет прошлое Черемухиных.

Черемухины, Птицыны и другие родственные фамилии с давних пор составили одно лихоимное гнездо, каких везде было много и которые дорого обходились народу. Родоначальником этого гнезда был некто Птицын, прибывший в наш город из какой-то другой губернии, по приказанию начальства, которое, оценив его «рвение и энергию», дало ему теплое место и возможность быть сытым. При поселении Птицына на теплом месте семейство его состояло, во-первых, из глухой жениной матери, умевшей говорить только одну фразу: «в карман-то, в карман-то норови поболе»; во-вторых – из жены, которая конкурировала с мамашей в более широком понимании и изложении мыслей насчет кармана; затем – из нескольких сыновей, воспитанных в страхе божием и в привычке к «доходам», согласно учениям бабки и матери, и нескольких молчаливых и забитых дочерей. Все это население, немедленно по прибытии в наш город, обзавелось благоприобретенным домом о множестве задних ходов и расправило свои необыкновенно цапкие руки, разинуло свои глубокие пасти, потянуло к этим рукам и пастям, толпы просителей и стало жить, получая пряжки и благоволения. Безропотные дочери были выданы замуж за людей, тоже желавших быть очень сытыми. Люди эти тоже расправили пасти и цапкие руки, тоже обзавелись сеньями и задними ходами, и таким образом в конце концов все вместе образовали один огромный взяточный «полип». Но внешнее обличье и жизненный обиход людей, из которых этот «полип» состоял, не представляли для постороннего наблюдателя ничего особенно возмутительного. Все это были только обыкновенные чиновники с зелеными, непривлекательными лицами, с потухшими глазами, сгорбленными спинами. На просителей они в действительности вовсе не накидывались, а напротив – шепотком, потихонечку разговаривали с ними в сенях или на задних крыльцах; денег у них не выхватывали, а принимали их тогда, когда просители долго перед этим ползали на коленях, умоляли. Полученные ни за что ни про что чужие деньги устроили в среде этого гнезда самые идиллические нравы: советы глухой и начинавшей слепнуть бабки насчет кармана встречались с улыбкой, которую посылают взрослые детям, принимающимся рассуждать о незнакомом предмете, ибо все представители гнезда понимали насчет этого втрое более. «Что вы учите, без вас знаем!» – самодовольно говорила ей родоначальница гнезда, жена Птицына, и павой ходила по дому среди семейной беседы. О грабежах не было и помину: толковали об отвлеченных предметах, о душе, о царствии небесном; ходили к обедне, пили, спали, целовали друг у друга ручки, делились добычей поровну, пьянствовали, рожали, крестили и среди этой нечеловеческой атмосферы растили детей... Птицын утопал в счастье среди этого благолепия, гладил взяточников-детей по голове, точил слезы, совершал объезды по губернии, причем деревенские начальники и оголенные деревни пели «многая лета», единодушно отдавали последние крохи на поднесение хлеба-соли и проч.

Пированье на чужой счет шло долго. Все гнездо объелось и опилось до потери сознания, что могут существовать на свете ревизоры, до потери счета нарожденному числу детей; многое множество было поглощено этою прорвою чужих денег, трудов, слез... и, наконец, настала война, пошли обличения... Гнездо разорено было мгновенно. Черемухины, устроившие свою жизнь на общих, вышеизображенных основаниях, были выгнаны и переселились в другую губернию. В семье Птицыных шел вой и плач. Исчезновение кармана, из которого можно было произвольно выхватывать сколько душа желает, подорвало даже и идиллию семейной жизни.

– В карман-то, в карман-то норови! – едва дыша, лепетала бабка.

– Прокарманили, матушка! Нечего накарманивать-то, – плакала ее дочь и с нежностью гладила по голове сына, попавшегося в двадцати уголовных делах. – Поцелуй меня, зайчик мой! – говорила она ему.

– Отстаньте вы к... богу... с поцелуями! Нашли время!.. До чего вы меня довели? – оскаливался сын на матушку, которую ему не за что было уважать. – Что я от вас видел, пользу какую? Вам только подавай... ризу сделать дали обещание... Ну и хватал... Вы – мать, разве я могу послушаться?..

Птицын лежал в параличе, и над ним тот же рабски покорный сын срывал свой гнев.

– А называется генерал! Не умели вовремя подмазать ревизора... Вам жаль... А небось как с меня, так «подавай!» Как принесешь, – «умник»... А-а! Бог вас наказывает... Какой вы отец?.. Удавлюсь вот возьму!..

Неудивительно, что сын мог говорить родителю таким образом: они были равны в хищничестве.

Такие сцены заставили уйти Михаила Ивановича и искать своего хлеба, и он с тех пор не видал ни Птицыных, ни Черемухиных до настоящего времени. В тот большой промежуток Черемухины успели прожить на чужой стороне все наворованные деньги, сам Черемухин успел умереть, а жена его, раздав старших дочерей замуж, воротилась с младшей дочерью, семнадцатилетней Надей, жить на родину. Это была несчастная, невинно страдающая женщина. Грабеж и пьянство терзали ее в доме отца, по воле которого она вышла за Черемухина и снова попала в область какого-то рабского произвола, где ей было вдвое тяжелее, потому что, в качестве жены, она должна была разделять хищнические нравы супруга. Ее мучило то, что дети ее выходят среди этой атмосферы какими-то уродами, тоже лгунами и льстецами. Она что-то все хотела сделать, старалась поправить; но ничего не сделала, а только мучилась, молилась в то время, когда хрипел пьяный муж, и под конец терпела от этого мужа самые страшные истязания: почему-то одна она оказалась в его глазах виновницею всех его несчастий и достойна была поэтому всяких мучений. Уважения между ними не было никакого, ибо Черемухин взял ее тоже потому, чтоб, под защитою Птицына, «делиться» с кем нужно. Возвращаясь на родину, она думала чем-нибудь согреть свою измученную душу, но это оказалось невозможным.

– Ты здешний, голубчик? – спросила она у извозчика, въезжая в свою губернию.

– Здешний, матушка, казенный!

– Что, помнишь ты, был у вас начальник?..

И она назвала фамилию отца и потом мужа.

– Как не помнить. Этаких разбойников да не помнить!

– Довольно, довольно, голубчик... Не про тех!

– Что он сказал? – спросила Надя.

– Нет, не про нас, ошибся. Так, сдуру! – старалась она замять злые мужичьи слова.

Холодно ей было на родине.

Товарищи мужа, скомпрометированные тем же, чем и он, сторонились от нее и, как пьянчужки, отрезвленные в квартале, сердито смотрели друг на друга и на нее. Иные из них, перебравшись в новые суды, перестали нюхать табак, стали курить сигары, обрили, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми или отделанными заново. Все знакомства, все

старинные приятели как будто и не существовали: все они держались на «дележе» и кончились вместе с ним. Все было пусто кругом. Но переносить личную бедность было бы не так трудно и больно для Черемухиной, если бы она не попиралась теми, которые сумели выбиться, подобно Арине, из нищеты в люди. Примеры такого превращения приходилось встречать довольно часто; всякий из превращенных считал своею обязанностью взглянуть на разоренных господ как на ровню, на что, конечно, имел полное право. Однажды, не дотянув до получения пенсии, она пошла заложить воротник к Арине, и если бы не Михаил Иванович, бывший тут и узнавший Черемухину, Арина бы потешилась над бедной, измученной женщиной, которая когда-то покупала у нее молоко.

– Ай вы разорились?.. – рассматривая воротник, говорила она с жеманною небрежностью.

– Богу так угодно...

– Много вас этаких-то... Жили-жили, что нажили? Что ж тебе дать за оборох твой?.. рупь – более нельзя.

– Ну, ну – полегче! – заступился Михаил Иванович. – Оборох? У тебя много ли таких оборохов было? С тебя не бог знает что тянут: три-то рубли он двадцать раз стоит.

Михаил Иванович говорил тем суровым тоном, в котором слышалось почти согласие с Ариной.

– Вынимай-ко деньги-то... чего там?.. Со всяким случается...

– Воля божия, – говорила убитая Черемухина. – Мы должны ей покоряться...

– Обнаковенно... Вынимай, вынимай! зеленую-то!.. – заступался Михаил Иванович.

Благодаря заступничеству Михаила Ивановича Арина не смела продолжать своей потехи над Черемухиными, и с этих пор, в ожидании железной дороги, Михаил Иванович стал заходить к ним посидеть, покалякать.

2

Чтобы избежать всяких обидных столкновений, Черемухина жила в глухой улице, в дешевой квартире, не заводя никаких новых знакомств и не возобновляя старых; жила она небольшим пенсионом, постоянно была дома, постоянно что-то вязала, выбрав себе местечко у окна, выходившего на двор, и думала. Было о чем ей подумать. Не последнее место в ее размышлениях занимала дочь Надя, которой было уже восемнадцать лет и которую надо было «пристроить». Но женихи покуда не являлись, и Черемухина полагала (про себя), что народ избаловался, молодежь рыщет и не думает жить по-человечески. Что касается до Нади, то она покуда не испытывала ничего, кроме зверской скуки. Она успела уже познакомиться с хозяином-мещанином и его женой; узнала от них, что «канка» есть то же, что индюшка, и что занятия хозяина в течение шестидесяти лет состояли в том, что он скупал этих индюшек и отправлял их в Москву. Узнала также от солдата, который, возвратясь с ученья, любил посидеть на крыльце и покурить трубочку, что прежде был тихий учебный шаг и скорый шаг, а теперь осталась одна пальба, а шаг запрещен. Знала она также всех мальчиков, пускавших змеи середь улицы; ходила по хозяйскому саду, видела, благодаря его низеньким заборам что делается в других садах; посещала бедных и нигде не находила ничего, кроме скуки. Даже лица, к которым она обращалась с известием «мне скучно», – солдат, хозяин, хозяйка, – надоели ей и прискучили точно так же, как прискучила улица, на которую выходили окна дома, сад, забор против окон.

Появление Михаила Ивановича, как нового лица, было одинаково приятно как для Черемухиной, которая не видала в нем открытого врага, так и для Нади, которая в сопровождении его могла идти, куда ей хочется.

Михаил Иванович помнил Надю маленькой девочкой. В детстве он ее иногда катал на салазках; увидав ее теперь взрослой и невестой и не находя в ее молодости ни разоренья, ни

прошлого, над которым бы можно было потешиться простому человеку, – решительно не мог сердиться вблизи ее и робко ежился где-нибудь у двери, если заходил посидеть; а если провожал куда-нибудь Надю, то шел позади нее, как лакей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.